

16+



Юлия Зайцева

То, что в шёпоте
за стеной

Юлия Зайцева

*То, что в шёпоте
за стеной*

Ярославль
Филигрань
2017

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос-4Яро)6-5
318

Зайцева Юлия.

318 То, что в шёпоте за стеной : сборник стихотворений
/ Ю. Зайцева. – Ярославль : Филигрань, 2017. – 90 с.

ISBN 978-5-6040093-8-3

Автор благодарит профсоюзный комитет АО ГМЗ «АГАТ» и благотворительный фонд «Доброе Дело» за материальную помощь в издании книги.

В оформлении книги использованы картины Павла Яковлева.
suitalism@gmail.com, #suitalism

Книга издаётся в авторской редакции.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос-4Яро)6-5

16+

ISBN 978-5-6040093-8-3

© Зайцева Ю., 2017
© Яковлев П., 2017
© Халилов М., 2017

Наша планета – это спичечная фабрика.

Громоздятся на фабричных полках городки-коробки. Коробки с разными этикетками и вовсе без этикеток, каминные коробки, коробки невзрачные, кособокие, карманные, крохотные.

И живут в них спичечные человечки-близнецы, притираются друг к другу. Тщательно они распределены создателем: каждый спичечный человечек – строго в своём коробке до тех пор, пока нерадивый фасовщик по своей неопытности и неловкости не опрокидывает стеллаж. Тут-то и рассыпаются спички из коробков, перемешиваются, а одна спичка обязательно закатится в угол, независимая от остальных, незамеченная поначалу. Соберёт фасовщик спичечных человечков как попало, распахает по коробкам: и так сойдёт!

– Что это? – Создатель поднимает спичку и внимательно разглядывает её. Пожимает плечами, кладёт спичку в карман для того, чтобы возвратясь домой, разжечь ею камин.

И после долго не задувает спичку, любуясь, как огонёк пляшет на её деревянной спине.

Ярко горит спичка.

Ярко горит спичечный человечек.

Тепло Создателю.

В поисках реперной точки

Когда представляешь новый сборник стихотворений, иногда можно услышать странную фразу: «А о чём там стихи?». И этот, казалось бы, такой наивный и простой вопрос зачастую даже маститого литературоведа застаёт врасплох.

На самом деле, о чём стихи того или иного автора, если, конечно, они стихи, и если это настоящая поэзия?

Держу в руках небольшой по объёму сборник стихотворений молодой поэтессы Юлии Зайцевой «То, что в шёпоте за стеной» и, несмотря на то, что в литературе я далеко не новичок, тоже задаюсь вопросом: «О чём же, всё-таки, её поэзия?».

Перечитываю стихи снова и снова, пытаюсь сублимировать смысл её поэтических посланий, и, с каждым новым прочтением, всё глубже и глубже окунаюсь в сложное переплетение многозначных метафор и широких ассоциаций. И только отрешившись от всего внешнего и полностью вникнув в ткань повествования, начинаю понимать, что ракурс зрения у автора необычен и, что именно при таком ракурсе исчезают aberrации зрения, мешающие восприятию образов во всей полноте их палитры.

Большинство из нас привыкло смотреть на явления и события снаружи и потом, в соответствии со своими внутренними установками, логически ранжировать увиденное по степени их значимости, в системе своих ценностей, а у Юлии Зайцевой взгляд изнутри, то есть знаки восприятия меняются местами: то, что мы воспринимаем опосредованно и ситуативно примеряем к себе, она воспринимает непосредственно и лишь затем опосредует во внешнее.

В свете такого подхода становится понятным и основной лейтмотив её поэзии: место человека в урбанизированном, глобальном мире, т. е. стандартизированный мир, состоящий из обезличенных людей. Причём, сам человек может индивидуализироваться, стать личностью, в высоком смысле этого слова, только в процессе самопознания, выстраивая вертикаль от сокровенного к трансцендентному.

Коллизии, порождённые сопротивлением «альтер эго» тенденции глобального мира к стандартизации любых проявлений жизни, –

вот об этом, в основе своей, и повествуют стихи Ю. Зайцевой. А это уже отсыл к острейшей философской проблеме новейшего времени, поставленной ещё Лейбницем: роли и месте монады в сложной, замкнутой системе. Эта логическая дилемма и является ключом к дешифровке содержания сборника.

Сама структура сборника глубоко продумана, и материал расположен таким образом, что позволяет по классической схеме жанра раскрыть заявленную автором тему.

Сборник начинается с категорического утверждения: «Наша планета – это спичечная фабрика». Этот семантически многослойный образ позволяет автору обозначить философскую глубину затронутых (и, отчасти, разрешённых) в сборнике нравственно-этических, эстетических и гносеологических проблем, стоящих перед современным человеком.

По мысли автора, пока тщательно отсортированные спички лежат в своих коробках, ничего не происходит, но эта застывшая гармония обезличенных единиц длится до тех пор, «пока нерадивый фасовщик по своей неопытности и неловкости не опрокидывает стеллаж: тут-то и рассыпаются спички из коробков, перемешиваются, а одна спичка обязательно закатится в угол, независимая от остальных, незамеченная поначалу...». Именно эту спичку подбирает и зажигает Господь:

«Ярко горит спичка.

Ярко горит спичечный человечек.

Тепло создателю».

Таким образом, автор с самого начала чётко акцентирует своё творческое и жизненное кредо: неприятие, во многом сбывшегося, образа будущего. Такого будущего, какое предрекали Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли, но это означает, что настало

«Время мыть камни. Время считать добро.

Время писать историю от руки...».

(Время мыть камни).

И это же означает, что что-то пошло не так, что нужно перестраивать сам цивилизационный фундамент человеческого бытия, отмыв краугольные камни, связывающие разрозненные индивидуальности в живой социум, а камни эти – добро, любовь и взаимопомощь:

«Дядя палач, если завтра мой пёс умрёт,
кто ещё станет от смерти меня спасать?».

(Время мыть камни).

Ответ на этот вопрос более чем очевиден. Но эта очевидность куплена дорогой ценой. Только в пограничных состояниях, на грани жизни и смерти открывается сокровенный, истинный смысл трепетной человеческой жизни и её не случайная встроенность в структуру пространства и ход времён (стихотворения «Надя», «Яна», «Апельсины», «Больничное» и др.).

Лирический герой Ю. Зайцевой оперирует огромными пластами истории и культуры – от мифов древней Эллады и библейского царя Валтасара до трансцендентализма Уолта Уитмена («Листья травы») и от Лилит и Адама до Гитлера и чёрных полковников и анархического бунта хиппи (К. Кизи «Полёт над гнездом кукушки»).

Пропуская через своё сознание бесчисленное количество рождений и смертей и экстраполируя прошлый опыт в будущее, она приходит к ассоциации с образом Оле-Лукойе, песочного человека, но ведь это же ещё и олицетворение Танатоса и Гипноса, а сон разума толкает человека в объятия Аты, ещё одной мрачной богини, персонализируемой с помрачением ума. И как следствие:

«По вечерам ежедневно который год
Женщина пьёт от бессонницы порошок.
Оле-Лукойе раскроет бесцветный зонт,
Сон мягко спустится, словно прозрачный шёлк.
Женщина знает, что вспорот на сердце шов.
Женщине снится до боли знакомый голос:
«Здравствуй, любимая, я за тобой пришёл.
Имя мне Оркус».

(Горе)

То есть, всё заканчивается визитом бога смерти. Отсюда закономерный вывод: обезличив человека, превратив его в винтик глобального механизма, эпоха стандартизации убивает и само время, которое в отрыве от эмоций воспринимающего его человека превращается в бесцветную математическую абстракцию:

«Встал маятник. Исчезли чудеса.
Дом опустел: ни шороха, ни вдоха.

Но время шло, и старилось, и глохло
Уже в обычных кварцевых часах» .

(Волшебные часы)

Отсюда всего один шаг до мрачного образа забытого бога как жнеца, собирающего богатый урожай смертей (Поэма «Урожай»). Но жизнь остаётся жизнью, и всегда находится забытая спичка – Человек – Прометей. Замысел Господа шире нашего эгоистичного кругозора.

Страдающий, зябнувший на сквозных ветрах переплетающихся эпох, человек ищет тепла у Бога милосердного и сострадающего. Ему недостаточно Бога абстрактного, он тоскует о Боге – отце, надёжном, уютном и домашнем, который бы разрешил нравственные коллизии рефлексирующей личности. Поэтому Ю. Зайцева постоянно возвращается памятью в прошлое, туда, где боги были атрибутированы квинтэссенцией человеческих чувств и мыслей. В сложном мире, где стёрты грани между пространствами реальными и виртуальными, в мире, где расплывчаты этические и эстетические категории, единственной реальной реперной точкой остаётся само сознание человека. Именно к этому и подводит читателя Ю. Зайцева, завершая сборник итоговым стихотворением «Прометей».

«Мы «в домике». Но слышит Бог, смеясь,
когда мы отлучаемся на час,
тарачимся бессонными глазами
на снег, на свет, как будто в первый раз.
Не понимая, что случилось с нами.
Не понимая, что сломалось в нас».

Итак, кольцо сомкнулось: «Ярко горит спичечный человечек» в начале и «Прометей» в конце. Весь сборник Юлии Зайцевой одна объёмная метаметафора с клубящимися внутри, переходящими одно в другое и, насквозь, друг через друга ассоциациями и метафорами. Чрезвычайно сложная для восприятия, но в то же самое время удивительно цельная книга, с насыщенной фактурой стиха.

Богатый словарный запас, большая эрудиция автора и плюс ко всему ритмическое разнообразие, нестандартные рифмы и мелодика стиха, гармонирующая со смыслом – всё это позволяет говорить о самобытном таланте автора и о факте выхода книги как о значительном событии в культурной жизни области.

Следует, пожалуй, сказать ещё об одной особенности поэзии Ю.Зайцевой: её восприятие мира и современных реалий – это концентрированное выражение мировосприятия и мироощущения лучшей части современной молодёжи, людей, становление личности которых прошло и проходит после катастрофы 1990-х годов. И появление такого значительного поэтического дарования как Юлия Зайцева, означает завершение смутного времени и начало осмысления нового этапа в развитии нашей культуры.

*Мамед Халилов,
член Союза писателей России*



Без спичек

Время мыть камни

Время мыть камни. Время считать добро.
Время писать историю от руки.
Вот я рисую дом и – напротив – фронт,
город с табличкой огненной «помоги».
Город-герой, и чужак из него течёт,
словно из горла хрип, на пустой вокзал.
Вот я сжимаю ненависть за плечо,
и у неё сегодня твои глаза.

Время пить ярость и сплёвывать горький ком.
Время не слышать, не видеть, не говорить.
Вот я рисую небо с таким трудом,
не посмотрев, что болит у него внутри.
Город-оскал, если встанешь к нему спиной,
то не зевай и пули ребром лови.
Где здесь аптека? Господи-Боже-мой,
ты о какой всё время твердишь любви?

Время спать порознь. Время глазеть на птиц.
Время вытаскивать раненых из гнезда.
Город сыпает лишнее из горсти,
город рисует мёртвые города.
Город штампует лица детей-сирот,
чёрные окна и страшные голоса.
– Дядя Палач, если завтра мой пёс умрёт,
кто ещё станет от смерти меня спасать?

Магдалине

Без десяти столетий новый бог
из римского подвала Палестины
выходит, спотыкаясь о порог.
Чужой народ ложится подле ног,
целует руки дева-магдалина –

пока ещё распутна и грешна,
а дом её – оплёван и обруган.
Господь идёт, но поступь не слышна,
идут за ним апостолы, мошна
великой новой церкви и хоругви.

И никому нет дела до того,
что с ними обнуляется эпоха,
и что потом Святейшества Его
состряпали из веры сотню войн,
и оживали чудища у Босха,
и вскрыт алтарь, и ризница пуста,
и праотцы безмолвны и бесплодны...

Мария, если б не было Христа,
какие пропадали бы места:
Вифания, Голгофа, Гроб Господень!
И чёрт-те что творилось бы с землёй,
где не сплелась Иудина верёвка:
полковники ушли бы на покой,
и жив Константинопольский герой,
и ты, Мари, и ты – работорговка.

Лики

Посмотри-ка, брат Пётр, как мне враз вышибает дух
шлемоблещущий Гектор, воинственный враг Атрида.
Мне пророчили гибель под утро, я жил до двух,
смерть смотрела глазами божественной Афродиты
и тянулась ко мне, были пальцы её в перстнях,
были слёзы янтарны, а горе её – огромно.
Так впервые из воина я превращался в прах,
и никто моё имя ахейское не запомнил.

Во второй раз я помню, как долго бежал, бежал,
бледнолицый, пропитанный лучшим индейским ядом.
Моё тело терзали десятки смертельных жал,
а она поливала настурции у ограды
одинокого домика. Пальцы её тонки,
и казалось мне, будто она сплетена из света.
Я узнал её сразу, коснувшись рукой руки,
а она навсегда поцелуем закрыла веки.

В третьей жизни я, русский, лежал под Москвой в грязи,
и трещала земля, и гремела передовая.
Здесь немецкий разведчик штык-нож мне в живот вонзил,
смерть моя поселилась в глазах медсестрички Раи.
Были пальцы грубы, были руки её сильны,
и, склоняясь над мёртвым солдатом, шептала Рая:
«Пусть не будет войны. Пусть не будет такой войны,
на какой безоружные ангелы умирают».

Посмотри-ка, брат Пётр: на дворе двадцать первый век.
У Дамаска бесследно исчезла восьмая рота,
смерть стучится сорокой в дома матерей, невест,
безымянные ангелы плавают по Неве.
Не зевай, братец Пётр, отворяй ворота!

Провинциальное

Когда-нибудь меня с небес взашей
из ангелов погонят с чемоданом,
я побреду по родине ничьей,
по улицам ничьим за подаяньем.
В провинции привычный ход вещей
я узнаю по голубям вокзальным –
всё тем же, одуревшим от тоски;
по дворнику, метущему плевки;
по профилям прямоугольных зданий.
Я помню каждый тополь, каждый камень
и каждый колокольчик у реки.
И всё здесь неизменно, как всегда,
чуждое постоянство поколений,
застыла Гераклитова вода:
всё тот же забулдыга в бакалейном;
рыбак всё тот же дремлет у пруда;
десятилетний старец жаждет знаний,
штудирует Платона у доски;
сквозь лупу наблюдает мирозданье
учёный, потирающий виски.
И только я – несвычный, пришлый, странный.
Но лучше мне исчезнуть с чемоданом,
чем бестолку в раю бренчать на лире
среди таких же братьев во плоти.
Схожу с ума на ангельской квартире,
держу стихотворения в горсти
и Бога умоляю:
«отпусти
на все четыре...»

Вавилон

*Мене, мене, текел, фарес
(Дан. 5:26-28)*

Два часа как площадь тиха, глуха,
сон украл последнего петуха,
там куриный бог ему сыплет семя.
Из кувшина идола бьёт фонтан:
не вино – вода. Виноградарь пьян,
он который час распивает время.
Истукан стоит. Человек спрямлён.
Человек, стоявший за Вавилон.
Вавилон, чьё время пил виноградарь.
Человек сухой, как суха лоза,
и суха слюна, и суха слеза.
Истукан стоял. Человек не падал.

Пировал и здоровствовал Валтасар.
Полногруды девки твои, Иштар,
и кратёры целы, и кубки полны.
От кратеров звон – чужеземный звон,
и бежал за Зевсом вослед Тифон,
или это Зевс настигал Тифона.

Пять часов как площадь молчит, горда.
Истукан стоит, но бежит вода.
Человек, привязанный к истукану,
просит пить вина, только нет вина.
Виноградарь мёртв, а Иштар пьяна,
царь царей заснул и вовек не встанет.

Семь часов как площадь темна, черна,
и петух доклёвывал семена.
Истукан стоял. Человек смеялся.
Человек, стоявший за весь народ,
хохотал, но только кривился рот:
«Мене, мене, текел, упáрсин».

Багдад

Земля твоя – мой Гефсиманский сад,
забывший имя своего пророка.
В персидской колыбели спит Багдад,
в котором всё спокойно, но постольку

поскольку ободряюще молчат
листочка у подножья минарета.
Мохаммед собирает виноград
без жён, без сыновей и без адептов,

а я смеюсь, что он пришёл один.
Мой смех, как первый блин, выходит комом.
Мне нечего сказать, я муэдзин,
которому беседы незнакомы.

И если говорить мне, то с собой,
и если не молчать, то о Багдаде,
о том, как снова требуя пощады,
охрипла птичка в клетке золотой.

Надя

*Сон разума рождает чудовищ.
Франсиско Гойя*

Фея её быстротечного детства имеет крылья
Алые – цвета красивого платья подружки Лены.
Надя страшится того, кто живёт в подкроватной пыли,
Тени его в полумраке зловеще ползут по стенам.
Август был душным и жарким, распахнуты настежь окна,
Зноем пропитаны спальни, как солью – морские волны,
Иссиня-чёрные тучи плывут, грохоча, с востока.
«Я не боюсь», – шепчет Надя, – «ни грома, ни туч, ни молний».

Леший из маминых сказок похож на братишку Павла
И подрабатывал так же – медбратом на четверть ставки.
Шёл третий год с той поры, как родного отца не стало,
Ёлок не стало, подарков, кота и соседа Славки.
Небо, темнея, шкварчит, словно сало на сковородке,
Наденька слушает, как за окном завывает ветер.
Алые крылья от сказочной феи лежат в коробке.
«Я не боюсь», – шепчет Надя, – «ни боли, ни зла, ни смерти».

Разве бывают чудовища, спящие под кроватью,
А у грозы разве есть, как у зверя, клыки и когти?»
Злое тарасит слепые глаза из угла палаты.
Утром обычно приходят сиделка в цветастой кофте,
Мама с гостинцами, доктор и третий усатый отчим,
А за окном небосвод бирюзовой подёрнут плёнкой,

Призраки прячутся в стенах и ждут наступленья ночи.
Ровно в четыре не станет в соседней палате Ромки...
Осень из Надиных дней не имеет оттенков алых,
И под кроватью чудовище больше не скалит зубы.
Злое тарасит слепые глаза из угла устало,
В лапах когтистых сжимает весы, имена и судьбы.

Осень приносит с собой в законье промозглый холод,
Дождь, нескончаемый кашель и небо в свинцовых латах.
Изредка в рёбрах тревожно у Нади опять заколет,
Тени из Надиных страхов закружатся по палате.

Чудо из ангельских ампул любые болезни лечит,
Ужас проходит, и Надя в подушку уже не плачет.
«Даже не вздумай бояться фантазий», – она прошепчет.
Осень у Нади волшебные сны в одеяле спрячет.
Вечер за окнами зреет и светится перламутром,
И подкроватное чудище Надин покой лелеет,
Щерится Злому, отчаянно верит: наступит утро,
Если на небе для Нади у Бога найдётся фея.

Реквием по мечтам

Дорогой мой дневник, мне не хватит ни строк, ни слов
рассказать о комодe, буфете, кровати, кресле,
что ведут, наступая на горло с восьми углов,
ритуал ежеутренней заупокойной мессы
сокровенным мечтам, и желаниям, и т. д.
Жизнь пинает под дых, из колёс выбивая спицы.
Я, ей-богу, отменно умею о том молиться,
даже знаю, какой звезде.

Этим летом подъезды выплёвывают жильцов
в половине шестого. Трамвайная сортировка
превращает десяток затылков в одно лицо,
проверяет билеты и делит по остановкам:
Мукомольный, Большая Сенная, Девятый Вал...
Проходные рабочих заманивают зарплатой,
словно мух в паутину. Становится непонятно,
как ты здесь выживал.

Дорогой мой дневник, я не знаю, зачем пишу.
Может быть, потому что ночами совсем не спится.
Я давно отдаю предпочтение шалашу,
продаю журавля, покупаю в кредит синицу,
но бюро ништяков закрывается на учёт.
И в мечтах о киоске чудес и небесной манне
я давно бы свалилась на землю, но Бог исправно
подставляет своё плечо.

* * *

Господи, что за жизнь?
Хрупкая,
как стекло,
ломкая,
как тростник.
Скажут тебе «лежать» –
через секунду лёг.
Скажут, что не герой –
ты уже сразу сник.
Скажут тебе «воюй» –
свой созываешь взвод;
Скажут тебе «беги» –
свой собираешь скарб.
Скажут, что смерти нет –
веришь, как идиот.
Спросят, где твой обрез –
он уже у виска.

Урожай (поэма)

Пролог

1

Шёл урожайный високосный год,
войной были засеяны поля.
Солдаты прорастали под землёй,
и кое-где торчала немчура
колючим непрополотым осотом.
И пугалом маячил часовой,
и ночь, вороний закрывая глаз,
под перьями скрывала иноземцев.

2

Как проповедовал Уолт Уитмен –
Учитель Гуманизма,
профессор топологии:
все люди идентичны –
ничтожество тебя, меня, его.
«Я кровь и кости всех народов мира,
я видел Ниагару, Днепр, Меконг.
Я прачка, чернокожая рабыня,
я плотник,
разносчик писем и газетных сплетен,
купец, чернорабочий, президент,
я лжец, брамин, мертвец.
Я ласточка, я полевая мышь,
я Тихий океан и Джомолунгма».

Выходит, что и я, сержант Петров,
свинец поймавший неприкрытым брюхом, –
Уолт Уитмен тоже,
рождённый в Уэст-Хиллс.

И, значит, это я
себя тащу за вóрот
и вслед себе кричу «russischen Schweine»
и «stirb!». Wir werden alle sterben.

Но почему я не зверёк в норе кротовой?
Я отчего-то зряч,
и страшно мне глядеть
на сапоги майора-без-ступни.
И почему не я – тот африканец,
взирающий на солнце, как на бога,
которому нет дела до окопов,
до Холокоста, до ноги майора,
до паука с немецкого предплечья?

3

О чём ещё подумать перед смертью,
как не о ней самой,
о сморщенном лице
фольклорной надоедливой старухи?
Эй, женщина!
Ведь ты могла бы быть
богаче Креза, обирая мёртвых.
И где твои шелка и кринолины?
Зачем ты ходишь в вековом тряпье,
когда такие шляпки снова в моде?
И сколько я ни думал, мне никак
не верилось, что женская рука,
привыкшая укачивать младенцев,
способна на убийства.
Как, немощная, ты могла сразить
Ахилла,
Геркулеса,
Голиафа?
Какая ярость двигала тобой,
когда ты шла, костлявая, в Освенцим?

Ицхак сказал, что смерть –
германский фермер,
сажающий усопших, словно репу,
в особый лунный день
крестами вверх.

4

Тогда цвела варшавская весна,
и берег Вислы был уже бесснежным,
а на плече Иосифа Святого
высвистывал Шопена соловей.
«Чирик-чирик», –
заладил Фредерик
душой своей неугомонной птичьей.
Эвтерпа в чёрном платье шла,
подол
запачкан глиной.
Видимо, с Олимпа
пешком плелась на встречу к соловью
навстречу мне, идущему на встречу
к сестре её.
Но ни лица Эвтерпы,
ни пуговиц на платье,
ни польских кос её я не запомнил.
Я помню до мельчайшего нюанса
то, что она везла перед собой;
то, от чего она имела вид
торжественный,
как ритор – перед речью,
и с вызовом смотрела на меня:
а ну, попробуй что-нибудь посметь,
и проклянц до пятого колена.
А я до неприличия глазел
на то, что тоже звали человеком.
Мари Тюссо, искавшая знакомцев
в корзинах у парижских палачей,
от этой головы бы отшатнулась.

*Кунсткамера.
Мятежный Петербург.
Большой Анатомический Отдел.
– Смотрите все, вот это образина! –
Я не способен ни закрыть глаза,
ни отвернуться.
– Все смотрите!
Вон тот, патлатый в инвалидном кресле!
Уродище!*

Меня к нему влекло.
И мне хотелось знать его природность,
смотреть,
смотреть
на каждый промах бога.

5

– ...и передайте пани Мельпомене,
моей жене...

*У смерти прокажённое лицо.
Я узнаю себя в её повадках.
Она, скорей, девчонка, чем старуха,
насмешливая маленькая дрянь,
срывающая шляпы с джентльменов.
Седой Протей,
тысячеликий идол,
глядеть – не наглядеться на тебя.*

– ...всё передайте, всё, как я скажу...

*Беловолосый франтоватый фриц,
рубиновые запонки,
манжеты,
подшитые рукой чужой супруги,
и бежевый мамашин флизелин,
петляет строчка, как у нашей Singer.*

*«Ах, liebe,
это Ганс, мой репетитор».
Трагедия, на чьей ты стороне?
Неграмотная Полли,
а не ты ли
грозила уничтожить фолианты –
«рассадники религии и лжи,
виновники туберкулёза сына»?
«Сначала прогорит в печи вон тот
бельмастый бородатый старикашка».
Собрание трагедий Еврипида,
мой годовой доход между страниц –
не бенджамин,
но эндрю и улисс –
безбедное твоё существованье.
О, если б не постылая латынь,
как был бы счастлив liebe-репетитор!*

– ...и передайте пани Мельпомене:
пусть без изюма подаёт кутью.
Я не любил изюм.

Эпилог

1

В начале был камень,
и камень – на день седьмой.
Ицхак ничего не создал:
ни мёда, ни молока,
ни паствы, ни девы,
ни жертвенного угла.

К нему прилетали синицы –
клювы в небесной манне;
к нему прилетали сороки
с вестями о Колкере Нисле;
к нему прилетали горлицы
с оливковыми ветвями.

2

В начале был камень –
камень святой Марии –
Марии воровки, вакханки,
сифилитички.
На камне она плясала
и мнила себя гетерой.
Она приседала, кружилась
и хлопала по коленям,
выписывала неуклюжие пируэты,
пока, наконец, не валилась под ноги к сброду.
Её уносили под гиканье на носилках,
как будто султаншу евнухи уносили.

Слава тебе, Мария!

Когда ты хватала младенцев
из тесных объятий гестапо,
твой танец был потрясающ,
твой танец был совершенен:
пять пулевых агоний –
Мария, пляши иступлённой!
Танцуй, Саломея, смелее!
И пусть голова Адольфа
прошествует по Берлину!

Затем было слово,
 понятное всем живым.
 Никто не сказал его,
 но в каждом оно звучало:
*Милый мой ангел, фюрер,
 голубоглазый мальчик,
 вот же твоё бессмертье:
 сок шестипалых лилий.
 Пей его ежечасно.*

Ни камня – на камне,
 но мёртвый – на мёртвом.
 Готовы Ицхаковы кирпичи:
 славная глина,
 обжиг – на самом зените.
 Из кирпичей иудейских
 можно сложить зиккурат
 выше Этеменанки.
 Мёртвые безъязыки,
 а значит, добраться до Бога –
 проще простого.
 Вот он – последний вавилонянин
 в майоровых сапогах
 с прорванным голенищем –
 считает ступени
 (сколько ещё там, сколько?),
 берёт по привычке просфорку
 с господнего блюда.
 Ицхака терзают
 «за что?» и «как допустил Ты?»,
 зудят в нём, трепещут.

Господь позволяет задать
каждому смертному
по одному вопросу.
Сколько ж вас, надоеды!
Ицхак не роняет ни слова,
но голос его повсюду.
И голос сержанта повсюду,
и голос майора,
и тысячи голосов,
и тысячи тысяч...
И шёпот, как шелест:
«Урожай,
Отче,
твой собран».



**То, что в шёпоте
за стеной**

Новолуние

У Бога начинался понедельник.
К полуночи Солохинский подельник
украл перегоревшую луну,
и выполол космический репейник,
и выловил созвездья на блесну

в фонтане Александровского сада.
Чернильная густая темнота,
как морда задремавшего кота,
не видела ни сна, ни Ленинграда.
И ныла Ахиллесова пята,

болел, гудел божественный затылок.
Бог прикрутил луну на потолок,
отвесил чёрту знатный подзатыльник.
Обиделся Солохин собутыльник
и тень господню в сумке уволок.

Егорьев день

Говорит она:

«Ямы одни, обвалы,
Всё лесные чащи, моря и взгорья.
Я к тебе, мой Иванушка, запоздала,
Не пришла обручаться на день Егорьев.
Да и как тут успеть за одну неделю,
Если платье цепляют ветвями вишни.
Я бежала на звуки твоей свирели.
Я, несчастная, только её и слышу».

Говорит ему:

«Сон мой Ванюша, свет мой,
Дважды в год я свободна от плена вишен,
На неделю меня отпускают ветви,
С каждым годом всё ближе к тебе и ближе.
А пока я стою истуканом, камнем,
На плечах моих гнёзда свивают птицы.
Не обнять, не коснуться тебя руками,
Только сниться».

Просыпался Иванушка еле-еле:

Поет старое сердце и сводит ноги.
Дважды в год он играл на своей свирели,
Чтоб не сбилась невеста его с дороги.
А в Егорьевский праздник надел обнову,
Вскипятил на печи оловянный чайник,
Помолился иконе, сказал: «Готово.
Приходи, встречаю».

Говорит ему:

«Вот мы теперь и вместе.
Здравствуй, Ванечка, здравствуй, мой долгожданный...»
И лежит он, счастливый, в объятьях Смерти.
Зацелованный, бездыханный.

Одиссей - Пенелопе

Пенелопа, которые сутки мой остров терзают грозы,
но сегодня Селена зажгла поднебесный факел.
Я пишу на песке, и песок отражают звёзды,
эти звёзды сияют тебе в Итаке.
Прочитай мои символы, буквы, знаки,
заучи их, пока не поздно.

Пенелопа, те знаки – дорога к родному дому,
эти символы – путь к берегам Калипсо.
Там, где сердцу всё дорого и знакомо,
ты слезами давно умываешь пристань.
Ты ждала двадцать лет, а казалось – триста.
Только я забываю здесь, где мы, кто мы.

Пенелопа, у грота Калипсо живут дельфины,
а в садах у меня даже пчёлы бросают ульи.
Я писал каждый день на блестящих дельфиньих спинах,
черепаховых панцирях и плавниках акульих.
Я писал каждый день, как мы плыли домой, тонули,
если мы не тонули сами, то нас топили.

Пенелопа, покинуть Огигию не под силу,
здесь и ветер, и скалы, и волны Калипсо служат.
Я пишу на крыле гусыни пером гусыни
той, что завтра рабыни тебе подадут на ужин.
Пенелопа, кого ты теперь называешь мужем,
кто зовёт Телемаха сыном?

Под развесистым каштаном

*Под развесистым
каштаном
Продали средь бела дня –
Я тебя, а ты меня...
Д. Оруэлл «1984»*

Я мог бы забыть твоё имя, но было вбито
оно в мои кости, аорту, гортань, кадык.
Клянусь, я молчал, и мой голос молчал. Язык
кричал твоё имя, как грешник кричит молитвы,

срываясь с Эдема: не помня земного слова,
охрипший, он вторит беззвучно: «Христе! Христе!»,
и как от греха отрекаются на кресте,
я тоже отрёкся от плоти твоей и крови.

И тем, распинающим порознь нас, мог ответить,
что я никогда не ступал на твои следы.
Как просит иссохший источник глоток воды,
я так же просил их развеять тебя по ветру.

И тем палачам, поделившим меня на части,
я мог бы соврать, что не знаю твоей души,
но, как продают безделицу за гроши,
я продал тебя.
Я предал тебя.
Я счастлив.

В парке

В парке скамейки вросли в позвонки друг друга.
Кашляет колокол. Птичье многоголосье
слышится вне, в отдалении, с неба, с юга.
Что-то апрель с февралём заигрались в кости,
птицы сбиваются в стаи, летят по кругу,
птицы летят и не помнят: домой ли, в гости.

*

Если их двое, то, Господи, дай им вечер,
скажем, в апреле, на том самом месте, в восемь.
Им – одинаково разным, случайным встречным –
дай повидаться единожды. Пусть он спросит:
«Долго до осени?» Пусть она скажет: «Вечность»,
если он спросит про вечность, ответит: «Осень».

Дальше пусть будет, как водится: дети, внуки...
Осень придёт незаметно с листвою рыжей.
Бывшая девушка станет седой старухой,
вскоре она вдруг поймёт, что старик не дышит.
С церкви закашляет колокол гулко, глухо,
только они ничего – даже собственный вдох – не слышат.

**

Нет. Всё не так. Ты, конечно, лишишь их речи.
Он не успеет спросить, далеко ли осень;
в восемь она позабудет про слово «вечность».
Кружатся птицы – продрогшей весне не гости,
Только скамейки врастают друг другу в плечи.

Под Рождество

Под Рождество расстались мы с тобой.
Мурлыкал кот, подняв свой хвост трубой,
желтели в синей вазе апельсины.

И ночь была бессонна и легка:
гуденье печки, кружка молока,
раскрытый томик Александра Грина.

И тишина – до грохота в ушах,
и стрелки замирали на часах
на цифре ноль и двигаться не смели.

А девочка, которой я была,
ждала тебя, отчаянно ждала
под листьями рождественской омелы.

Спортивная, 8

Спортивная, восемь. Жилая многоэтажка.
Кузьмич выбивалкой охаживает ковёр,
в зубах у него – самокрутка, в кармане – фляжка,
зачаток, удачно припрятанный. Во двор
выходят Алёшка и следом – сестра Наташка,
что нянчится с ним от рождения до сих пор.
Идут до песочницы молча. Алёшка плачет.
Алёшке семь лет, и в руке у него светляк.
Светляк не шевелится, крылья его прозрачны,
но призрачным светом в ладони мерцает, как
фонарь, затухающий утром, впадает в спячку.
Несёт на ладони Алёшка живой маяк.
«Как трудно жить в мире таким маякам, Наталка!
Летает – горит, умирает – опять горит...»
Светляк выключает свой свет, и Алёшке жалко,
и взрослое что-то растёт у него внутри.

Ворон

– Братец мой Ворон, пусти меня! У реки
Ночью гадают на суженых до восхода.
Девушки вьют из цветов полевых венки,
Косы плетут и бросают колечки в воду.
А за подарки русалочки голоса
Шепчут из мутной реки имена любимых.
Я жизнь свою отпустила бы в небеса
Только за то, чтобы просто услышать имя.

– Милая, слышишь, охотники у дверей,
Вечер за окнами скалит собачью морду.
Жители нынче бросают отраву в воду:
Так веселей.

– Братец мой Ворон, пусти меня за порог!
Слышишь, в окошко тревожно стучится ветер?
Суженый выбрал неблизкую из дорог,
Он приходил на заре, но никто не встретил.
Полночь чернее пера твоего крыла,
Словно закат на неё затаил обиду.
Я темноте бы и лучшее отдала,
Чтобы любимого снова хоть раз увидеть.

– Это не ветер, милая. Так стучат
Неподалёку охотничьи барабаны.
Суженый ставит кругом на тебя капканы
И на волчат.

Морок

Вечером людно в трактире на побережье,
Гостеприимен трактирщик, шустра обслуга.
Был интересен рассказчик, вот только прежде
Звали его сумасшедшим по всей округе.
Впрочем, ходила молва, что бедняга болен,
Может, его лихорадило от простуды.
То он, бледнея, беседовал сам с собою,
То подавал чашку чая пустому стулу.

– Нет, вы представьте: её не существовало!
Нет, вы подумайте: не было, в самом деле!
Как же она, беспокойная, танцевала!
Как же она уставала к концу недели!
Я же ходил за ней, словно замороженный,
Я же ей волосы гладил жемчужным гребнем!
Только её и блаженный не взял бы в жёны –
Не было места ей ни на земле, ни в небе...
Странность была в ней одна, я не знал причины.
Прятала спички и свечи, что были в доме.
Ночью однажды нашёл и зажёл лучину,
Что было дальше – совсем ничего не помню.
Этой же ночью исчезла она бесследно.
Морок растаял. Как будто мне всё приснилось.
А рыбаки говорили, что прошлым летом
Девка похожая в озере утопилась.
Слухи ходили: покойница колдовала,
Не отмолили беспутную, не отпели.
Нет, вы представьте: её не существовало...
Только подумайте: не было, в самом деле.

Змеелов

Только одна дорога из ста дорог –
к хижине Змеелова. Трёхглавый Цербер
смирно сидит у входа, хранит добро.
Флюгер хохлатой птицей летит на север.
Сломан небесный кран – подставляй ведро.

– Как бесконечен дождь... – Заскучав, она
пальцем рисует змей на стекле оконном.
Он для неё бы звёзды достал со дна,
он для неё бы смог приручить дракона,
он для нее бы – десять ночей без сна.

Ночь Змеелову – недруг. Он крепко спит.
Змеи плетут клубки, обвивают руки.
Спится и снится: горло его шипит,
он обезножен и обращён в гадюку,
и переполнен ядом, как морем – кит.

Дождь не уймётся – в небе полно воды,
тучи цепляют крыши, седы и низки...
– Мой Змеелов, усни и не встреть беды.
И принеси мне голову василиска
или его, послушного, приведи.

Ночь на подхвате. Небо не жжёт заря,
но, как зола в погасшем костре, чернеет.
– Милая, мне ль теперь приручать царя?
Видишь, меня сжимают в объятьях змеи
и не пускают в логово главаря.

Яд разъедает сердце, взамен – дыра.
У василиска голос приятен, ласков:
– Слишком он нынче буйствует... Медсестра,
вы ему на ночь туже стяните вязки:
дождь, говорят, не кончится до утра.

Башмак

В дальней стране, где властвует суховой,
До горизонта только пески лежат.
Пьёт у колодца маленький человек,
Пьёт из кувшина, веки его дрожат.
– Эй, человек, волшебник ты или чёрт? –
Старый Захар-торговец ему кричал, –
Мой караван прошёл много сотен вёрст,
Но я колодцев сроду здесь не встречал.
Как же тебя сюда занесло, чудак,
Без каравана, лошади, ишака?
– В этом колодце я утопил башмак,
Левый башмак и с золотом два мешка.
Я зачерпнул трёхсотый кувшин воды,
Но до сих пор ещё не увидел дна.
Добрый Захар, спаси меня от беды,
Ты помоги, а я заплачу сполна.
Есть у меня за пазухой талисман,
Счастье приносит даром он в каждый дом.
– Что мне счастливый дом, если пуст карман?
Лучше делись вторым золотым мешком!
– Да забирай хоть два, но достань башмак,
Мне без него и воля, считай – тюрьма.
Черпал Захар и думал: «Чудак, дурак!
Видно, совсем от горя сошёл с ума».
Пил из колодца воду Захар три дня,
Пили верблюды, мулы и лошаки,
А на четвёртый вытащили со дна
Левый башмак потрёпанный и мешки.
Хлопнул чудак в ладоши, и был таков,
Оборотилось золото в двух ворон.
Охнул Захар: ни счастья, ни башмаков,
И хохотал на радуге лепрекон.

Горе

Так начинается утро: под звон часов,
Ласковый шёпот: «Уже ровно семь, проснись».
Оле-Лукойе сыпает в рукав песок,
Оле-Лукойе у сна обрезает нить...
В городе холодно. Память ещё хранит
Тёплые руки и сонный охрипший голос,
Но у подъезда её уже ждёт таксист
С именем Хронос.

День вертит глобус, как чёртово колесо.
Горе за нею бредёт, заматывая след.
Горе дробит зеркала, просыпает соль
И распадается сотней дурных примет:
Птица в окне и внезапно погасший свет –
Каждая мелочь являет лицо сивиллы.
Небо над городом рвётся, меняя цвет
В пасмурно-синий.

Так обрывается вечер, дрожит рука.
Горе стучится и просится на постой.
Женщина в комнате ждёт от него звонка.
Женщина знает, что он не придёт домой.
Женщине впредь засыпать по ночам одной
И под подушку его фотоснимок прятать.
Женщине впредь быть ослепшей, глухой, немой.
Имя ей Ата.

По вечерам ежедневно который год
Женщина пьёт от бессонницы порошок.
Оле-Лукойе раскроет бесцветный зонт,
Сон мягко спустится, словно прозрачный шёлк.
Женщина знает, что вспорот на сердце шов.
Женщине снится до боли знакомый голос:
«Здравствуй, любимая, я за тобой пришёл.
Имя мне Оркус».

Литературный Герой

А когда не найдёшь излечения от простуд,
Позабудешь, как можно ещё без меня дышать,
Приходи посмотреть, как у страха глаза растут,
Приходи ко мне умирать.

Приходи на расшатанный мост, под ракивов куст,
Будет город запаян в дождливой ночной фольге.
Если в небе осталась живая вода, то пусть –
Для тебя, дорогой ЛГ.

Приходи, по сюжету нас автор приговорил:
Жили долго и счастливо, умерли в судный день,
Как положено: вместе, в обнимку, на «раз-два-три»,
у Его колен.

Двое

Он сидит на раздолбанном табурете –
древнегреческий аполлон.
Зажимает во рту мундштук, подкуривает сигарету.
Проливает одеколон
на расстеленную газету,
чертыхается, мол, не прибрано, извини.
– Я не ждал тебя, да и – боже правый! –
между нами давно уже нет любви.
От неё остались стоящий в углу клавир,
замолчавший после второй октавы
и звенящий на ноте «ля»;
две колоды игральных карт
от двойки до короля –
как ни крапь, при любом раскладе
нам не выпадет флеш-рояль.
И поэтому, бога ради,
уйди, прошу... Я устал.

Но она собирает клочки бумаги,
по привычке сметает сор
и не смотрит ему в глаза.
Всё, что он ещё не сказал –
революция, форс-мажор.
У неё внутри двадцать
изб, что ещё горят,
необъезженных скакунов,
чёрных бездн и дыр,
на которых не хватит ни упряжи,
ни заплат,
ни воды.

И нет повода, чтоб остаться.
И нет смелости, чтоб уйти.

Тени

Я рождаюсь твоею тенью.
Обнимая тебя за плечи,
мне не то, чтобы легче вторить,
мне, наверное, легче жить.
У меня нет с собой ни пенни,
мне платить за свободу нечем,
мне осталось безмолвным вором
подбирать за тобой гроши.

Только долгими вечерами
я меняю тебя на стены,
на брусчатку и перекрёстки,
на асфальт и фонарный свет.
Мы фантомы. И рядом с нами
тени-звери и птицы-тени
проживут до утра, а после
растворятся в сырой листве.

Я рождаюсь твоею тенью.
У меня нет иных привычек,
у меня нет других наречий,
у меня нет чужих имён.
Всем известно, что отраженья
погибают без ламп и спичек.
Ты, пожалуйста, каждый вечер
зажигай для меня огонь.

Зимнее

Нам зима – не зима: так славно и горячо,
Здесь мой дом и очаг, а там, за твоим плечом,
Реки и города заперёт в сундуке ключом
Чья-то властная и невидимая рука.

И февраль – озорной и хитрый пострел-колосс –
Заигравшись, просыплет жемчуг сестринских кос.
Вот узнает отец, прольётся немало слёз!
Да, увесисты подзатыльники старика.

А с утра соберутся в путь по земной дуге
С городами в большом серебряном сундуке,
С гололёдами в ученическом рюкзаке
До страны, где поляны сочны и зелены.

Если всё же польётся вместо дождя хрусталь,
И на смену морскому бризу придёт мистраль,
Если не перестанет шкодить хитрец-февраль,
Знаешь, я что-нибудь придумаю до весны.

Волшебные часы

Казалось бы, оглохла тишина,
Когда сломались ходики в июле,
Откуковали, замерли, уснули.
Осиротела в комнате стена.

Напрасно домовой всю ночь рыдал,
Любовно чистил шестерни и оси,
Часы теперь показывали восемь,
Кукушка выпадала из гнезда.

Вчера ещё стихала суета,
Когда часы отстукивали полночь.
Дом оживал, потягивался сонно
И слушал сказку рыжего кота.

Его легенда длилась до восьми.
И каждой ночью на оживших стульях
Красивые фарфоровые куклы
Сидели на веранде с домовым...

Встал маятник. Исчезли чудеса.
Дом опустел: ни шороха, ни вдоха.
Но время шло, и старилось, и глохло*
Уже в обычных кварцевых часах.

* Строка Бориса Пастернака.

Бабочка

*А потом были бабочки.
Джон Фаулз «Коллекционер»*

Мне говорили, что ненависть не имеет тела,
не имеет формы, религии или расы.
Ненависть четырёхстенна, на самом деле.
И шестигранна.
Часто приходит в образе конвоира и солдафона,
часто приносит наручники и удавку.
Ненависть накрывает меня плафоном
и наживляет, как бабочку, на булавку.

Здесь тишину разрывает на тысячу децибелов,
вакуум клетки отчаянно осязаем.
Кажется, я в нём оглохла и одурела.
Кажется, я о себе ничего не знаю.
Кажется, я о себе ничего не помню,
и если бы прошлому дали имя,
оно было б копией этих комнат.
Стало бы ими.

А затем были бабочки – чёрные, словно вдовы,
хрупкие крылья на бархатных антресолях.
Я напишу про Вас книгу,
Вы бросьте мне только слово.
Я Вам наплачу море,
Вы дайте мне только соли.
Я нарисую Вам счастье, но что для Вас значит счастье?
Старые стены и лица белее хрома?
Вы мне принёсите воду, бинты и пластырь.
Я умерла уже в пропасти у Джерома.

Сорок лун

Сорок суток ворону голосить,
сорок лун стеречь.
Не тебе, my darling, меня крестить,
не тебе беречь.

У неё глаза ярче, чем смарагд,
чище, чем ручей.
У неё в крови или конокрад,
или казначей.

Всё, что тайно выманит у невест,
под полой хранит.
Чтоб с молитвой девичьей не воскрес,
сядет ворожить.

Сорок рун разложит перед собой,
призовет волхвов...
Помоги же той, всемогущий Бог,
что милей всего.

Вышивай, my darling, на бересте
золочёный крест.
Я вернусь на тридцать девятый день
к первой из невест.

Кукловод

Если встретишь свободу, то это свобода от
самого же себя, от способности праздно жить,
потому что снаружи невидимый кукловод,
управляя фигуркой, безжалостно тянет нить,

чтоб плясала огнём, извивалась, как жалкий червь,
чтоб сжималась пружиной, крутилась ручной юлой
до тех пор, пока кукла не станет никем, ничем:
вдвое мельче, чем тля, и прозрачнее, чем стекло.

Кукловод воздвигает ряд башенок и мостов,
строит стены и в них вырезает глаза бойниц.
Вот твой кукольный Тауэр, вот твой очаг и кров,
если этого мало, то вот тебе трон и принц.

Он лелеет и холит её каждый волос, но
стоит пальцам разжаться, и кукла лежит ничком:
её принц был фантомом. Он правит другой страной.
Королевство, как мыльный пузырь, разорвёт. И дом

её ветхий и карточный ливнями раздробит.
Жизнь фарфоровой куклы не станет ценней плевка.
Будь послушным невольником, крепче держись за нить,
пока нитью ещё управляет Его рука.



Я прошу тебя мне преподавать лишь один урок.
Знаю, ты для отказа найдёшь миллион причин:
«Извини, но нет времени», «рано», «ещё не срок»...
Я же больше не гневаюсь, как ты меня учил.

Твоё войско бунтует: к концу подошла картечь,
Кавалерия пала, и некого запрягать.
Я же, твой подмастерье, кую каролингский меч,
Чтоб наутро вонзить его в грудь твоего врага.

Я лагаю доспехи и снова срываюсь в бой,
Получаю отпор и в ответ обнажаю сталь.
Я тебя понимаю, ты – Бог. Ты всего лишь – Бог,
И за целую вечность от этой войны устал.

Я же, твой менестрель, выливаю мотив из флейты,
Растворяю усталость и снова лишаюсь чувств.
Открываю молитвенник и не встаю с колен
До полуночи, каюсь и попусту жгу свечу.

Я познала ремёсла и пряжи, и гончара.
Знаю, как по ночам от тоски диким волком выть.
Ты меня обучал быть сильнее ещё вчера,
А сегодня, прошу, научи меня
не любить.

Лилит - Адаму

Как бы ни был Всевидящий благостен, мудр и добр,
Мне не место в Его саду.
Покажи, где рождается солнце, в какой из гор,
Я туда за тобой пойду.

Научи меня чувствовать солнечные лучи,
Чтоб саднил изнутри ожог.
Как бы ни был Всеслышащий милостив, светел, чист,
Пусть Он праведных бережёт.

Воскреси меня, выдумай, заново воссоздай,
Я творцу – непригодный пласт.
Вознеси меня так высоко, чтоб взревел Синай:
«Как ты смела так низко пасть?!»

Яна

У них что ни встреча, то, непременно, брань.
Она тянет ему стакан,
но его от вина мутит.
Тишину разрезает сплит
Чака Берри и Би Би Кинга.
Яна – крашенная блондинка
лет так около тридцати.
Ей бы надо в него врасти,
как деревья вырастают в землю.
Яна шепчет: «не уходи»,
наливает себе глинтвейна.
Яна слишком прямолинейна
или, может, совсем пьяна.
И уже ему не жена.
Яна с месяц живёт, как битник,
вымирающий индивид:
всё бухает и истерит,
полосует запястья бритвой.
Что ни вечер, то снова битва
без прострелов и ножевых.
Их нет в умерших и живых.
И такая стала для них любовь:
у него – Рэй Брэдбери и плей-офф,
у неё – интернет, алкоголь и блюз.
Говорит, не сдохну, так хоть сопыюсь...
В подреберье снова пронзительно холодит.
Яна ёжится и дрожит.
Яна хочет надраться, да так, чтобы в стельку, в хлам,
но сгибается пополам,
начинает надсадно выть.
– Ян, пора бы уже остыть...
В её кухне светлее и чище, чем было до.
И ему одиночество не идёт.
Яна робко сжимает его ладонь,
горько плачет, уткнувшись ему в плечо.
Яне снова спокойно и горячо.

Верочка

Юность

Папа у Верочки – старший менеджер,
Верина мать – секретарь у спикера,
Брату – шестнадцать. Он любит сникерсы
и отправляет подружкам месседжи.
Верочку водят на демонстрации
и прививают любовь к отечеству,
Вера читает взхлёб Ключевского
и почитает устои нации.

Зрелость

Жизнь прививает счета и хлопоты,
злую свекровь и супруга-пьяницу.
Вот, говорит, набираюсь опыта,
чтобы потом вспоминать и маяться.
Вовка с филфака, студент из Принстона,
миллионер-старикан из Выборга...
Не повезло, значит, Вере с принцами,
если такого супруга выбрала.

Старость

Вере от мужа осталась комната
и пожеланье всего хорошего.
Тени приходят гостить из прошлого,
сколько их было – теперь не вспомнится,
сколько схоронено – ей неведомо.
Как там им, родненьким, на погосте-то?
Верочка плачет и верит в Господа.
Две с половиной недели верует.



Имя ей – Женщина. Создана из ребра,
Первого вдоха Адама, его молитвы:
«Пусть она станет огнём моего костра,
Сном после битвы».

Имя ей – Женщина, лекарь и поводырь.
Мир без неё, словно время без метронома,
Ветер без флюгера, озеро без воды,
Путник без дома.

Имя ей – Женщина, мама, сестра, жена.
Благословенна в любом из своих обличий
Ева, Елена, Офелия, Беатриче,
Весна.



**Аберрация:
#ЖИТЬ**

Февральское

Поздний снег дорожит февралём так, как я – тобой,
что-то непоправимое чудится снегирю.
Замерзает наш город, прижавшись к трубе трубой,
фонарём к фонарю.

Мне достать бы бесценных минут, чей синоним – ты,
распихать по карманам, по ящичкам рассовать
и учиться быть неразличимой у темноты,
а у тайны – молчать.

Замереть, словно тать, затаившийся после краж,
и на счастье смотреть, и бояться его сморгнуть.
Только жаль, бесконечности нет, вот и город наш
отгоняет весну,

но бежит серафим, ни секунды не дав взаймы.
Тонок лёд на реке, с треском рвётся её киста,
улетает снегирь, и почуяв болезнь зимы,
снег шагает с моста.

Буквица

Д. Л.

Будь по-твоему, «мама, купи собаку»
не познать мне. И время бездетно тоже:
ни судьбы, ни пристанища – только знаки,
как дворняги голодные, душу гложут.
Нынче буквы взрослее Иерихона,
чуть забудешься – охаешь на латыни.
Припадаешь к безбожнику: «Ессе homo!»,
обнимаешь колени своей святыни,
чтобы после каликой идти по миру,
удивляясь свободе, как осуждённый –
высшей мере. Ответь же, Святой Димитрий,
как вмещается Слово в твои ладони?
Нынче буквы увесистей монолитов,
пригибают к земле и сутулят спину.
Я таскаю к иконе твоей молитвы,
но боюсь, что на церковь не хватит глины.
Будь по-твоему, делай со мной, что хочешь,
высекай на душе моей голос Божий.
Убаюкаю прошлое, словно дочку,
и пойду – дура душой – по бездорожью.

Апельсины

– ...а вчера привезли суицидницу.
Говорят, она сумасшедшая,
то ли мать, то ли дочь главврача.
Стас Михалыч кричал:
«Ну какого лешего?!
У неё ж по хранителю на плечах!»
Персоналом было обещано
до утра её откачать.
Вообще, тяжёлых у нас – полклиники
(как их стоны выносят стены?),
а тут травятся тысячу раз на дню
да топорно вскрывают вены...
Вот теперь Михалычеву родню
доставай, как хочешь, с другого света, –
Света крестится и садится на краешек
кривобокого табурета.

– Что ты знаешь о сумасшествии?

Три ночи снились мне
сплошь покойники и кресты.
Я спасаюсь одним его именем,
вот оно – у меня в горсти.
Он мне друг, я ему нелюбимая.
Я калека, а он костыль.
Впрочем, где там пакет с апельсинами?
Угости.
Что ты знаешь о сумасшествии?

Я была там, где вьётся тропинка в ад,
где на стёклах «крестики-нолики»
пациенты рисуют в ряд.
Говорят, они параноики
и боятся всего подряд.

Это ночью. Днём улыбаются
солнцу, койке, прожекторам,
окнам, небу, собственной матрице,
лаборантам и докторам...
Дай мне нож или вилку... Какая разница...
Слишком толстая кожа.

Что ты знаешь о сумасшествии?

Семилетний мальчик теряет слух,
у него в голове грохочет, звенит и стонет.
Он идёт на цыпочках после двух
из ларька по длинному коридору.
Время тихого часа, все мирно спят
в неуютных больничных койках.
Только в мальчике демоны голосят
и ему не дают покоя.
«А-ПЕЛЬ-СИ-НЫ!!!» - взывает над ухом голос.
Мальчик жмётся к стене и сползает к полу.
И авоська рвётся, как тонкий волос,
апельсины скачут по коридору,
и техничка бросает: «Вот чёртов псих!»
И сквозь зубы выплёвывает с укором:
«Как земля выдерживает таких?»

Что ты знаешь, дочка-сестрёнка-мамочка,
о таких, кто владеет нами?
Мне на всех остальных до лампочки,
его имя – в моём кармане.
Здесь я сплю, и мне снова видится:
Бог жонглирует чудесами.
А вчера привезли суицидницу.
Говорят, с моими глазами.

Про слонов

Уходите, слоны, навсегда из моей груди
Павел Полозов

Грусть приходит, но не одна,
Грусть приводит с собой слонов.

– У тебя, – говорит она, –
Слишком много пустых углов.
– У тебя, – говорит она, –
Что ни комната – немота.
Где должно быть окно – стена,
Где должна быть стена – чертá.

– Погоди, – говорю, – молчи.
Не трубите, слоны, – прошу, –
Не гасите моей свечи,
За собой не тащите шум.
Не топчите моей груди,
Не трясите мою кровать.
Под ребром человек сидит,
Он боится без света спать.
Будет ночь для него светла,
Пусть он добрые видит сны...

– Ты куда, – говорю, – пошла?!
И куда вы пошли, слоны?

Выбегала Грусть из дверей,
Улетали слоны во тьму:

– И без нас тут полно гостей,
Слишком тесно в твоём доме.

Прятки

Мир совсем обессилел, лишился стыда на треть.
Я давно бы истлела, но нечему тут гореть,
Я давно бы себя прокляла, но осудишь, Отче.
Я давно бы кричала, но в рот набрала воды,
Потому куда хочешь, меня веди,
Оставляй, где хочешь.

Я давно не вижу ни фронта, ни сна, ни тыла.
Расскажи, как сияет моё светило;
Расскажи, как в апреле цветет июль.
Мне живой вариться в акульем брюхе,
И никак не скосит меня старуха.
У неё, как всегда, не хватает пуль.

Посмотри мне в глаза, у зрочка добывают медь;
Там все сыты и счастливы, нечему там болеть;
Небесами в бездонных лужах играют дети.
Я давно всё забыла, свои замела следы.
Я тебя не нашла, но сегодня тебе водить.
Отыщи меня, если сможешь, на этом свете.



Д. Б.

Помнишь скрип шаткой стремянки, ведущей на
старый чердак, где под утро темно и стыло?
Пахнет лавандой, соломой и нафталином.
И первый луч, исходяемый из окна
(тонкий и ломкий – натянутая струна),
стелется к полу и вьётся волшебной пылью.
Ткач доплетаёт вчерашнюю паутину.
Город за стёклами жмурится ото сна.
Так мы стояли – безмолвны и недвижимы,
словно у нас эта осень всего одна.

Помнишь дорогу из красного кирпича,
молнией раненый кедр ещё прошлым летом?
Я ловко прячу в широкий рукав конфету
и – алле-ап! – вынимаю из-за плеча.
Ты этот фокус узнал, но смеёшься: «Ведьма,
кара тебе – острый моего меча».
...Кедр превращался в труху. Мы выросли. Время
злее любого безликого палача.

Время научит готовить, стирать, лечить.
Время заставит без слёз хоронить любимых.
Здесь невесомее боль, холоднее зимы.
Ведьме – протапливать печь и глотать ключи,
Чтоб в её двери прохожие не входили.
Лучше останься дорогой, стремянкой, пылью.
Но не стучись.

Без-сонное

Мне снится небо, мне ветры и камни снятся.
Мой попугай говорит, что апреля нет;
Море просолено, как черепаший панцирь.
Как ты Незрячему дашь горизонт и свет,
Как ты покажешь рыбу, песок и след,
Берег, восточный ветер, морской прибой,
Как ты покажешь рассвет Слепой?

Мне снится голос, мне эхо в пещерах снится,
Мой попугай не ест, не летит, не спит.
Сны пахнут хлоркой, йодом, тоской, больницей.
Как ты Оглохшему скажешь, что в нём звенит,
Как у Немого узнаешь, о чём молчит,
Что за стихи бережёт у себя в груди
Рыба его, плавником разрезая дно?
Стань мне архангелом, богом, огнём, водой,
Только не уходи.



Стать истуканом, столбом, молчальником,
битым сервизом, кипящим чайником,
инеем на стекле.

Жить на орбите, в звезде Юпитера,
только не в Омске, Москве и Питере,
только не на Земле.

Время-портной одевает ряженных
в модное: в сплетни, в понты, в бумажники,
в голые короли.

Мне бы небесным висеть стеклярусом
или ходить на крыле, под парусом,
только не у земли.

Насмерть во мне воевали воины,
в каждом – дыра, пустота, пробоина,
лезвие бердыша.

Выдай мне меч и кольчугу медную,
тесную,
чтобы убив последнего,
я не смогла дышать.

Утренние очевидные вещи

О подобном пишется рано утром
Под горячий кофе вприкуску с хлебом,
Под отчёт и графики со счетами,
Где, устав шептаться, притихли стены,
И в привычном ритме спешат минуты.
Я смотрю на небо и вижу небо,
Я смотрю на камни и вижу камни,
Я смотрю на тени и вижу тени.

По утрам спокойней, практичней, тише,
И стихи не просятся – ну и ладно.
Утром даже Бездна – уже не бездна.
Что вчера кричало, рвалось, болело,
Стало цельным, сильным, почти неслышным.
Открываю кран, и вода прохладна;
Запираю двери ключом железным;
Раздвигаю шторы – вокруг светлее.

Никаких тебе вариаций прочих,
Тайных смыслов, поисков чаш Грааля.
Рукавами больше не машет ветер,
Не кивает, словно болванчик, город.
Ты не знаешь правды, но знаешь точно:
По утрам тебе никогда не вдали.
Тем, кто ищет свет, не хватает света;
Тот, кто горя ждёт, не желает горя.

Мантра

Господи, отсуди его у меня, пожалуйста, отсуди.

Не давай мне отныне рыдать у него в груди,
не давай мне отныне стучать у него внутри
тем истошным звоном,
глухим набатом.

Отче, пусть он приносит мне боль и страх,
не давай мне рождаться в его стихах,
не давай мне шептаться в его губах
словом незнакомым,
случайной мантрой.

Отче, мы практически идентичны, мы так похожи,
обожги его, изувечь – поменяюсь кожей,
стану его клеткой, слюной, оголённым нервом,
заключительным выдохом, вдохом первым.

Господи, разведи нас, не дай нам сбыться,
чтобы нам не сторчатся, не свыкнуться, не сжениться;
чтоб не быть двухголосой двуглавой двукрылой птицей.

Отче, спаси нас от нас самих.

И если не быть нам счастливым, живым, влюблённым,
разлучи навсегда нас – друг к другу приговорённых.

Ныне и присно.

Во веки веков.

Аминь.

Купидоное

Первый всё целится в рёбра, куда-то влево,
нужно принять, как данное, и молчать.
Боже, прошу, храни свою королеву,
а у меня – по ангелу на плечах.

Беса во мне не исправить: он, словно морфий,
шёпот так сладок, и голос его двулик.
Я остаюсь с тем, кто варит вкуснее кофе,
греет постель и рисует внутри нули.

Этот второй отчего-то стреляет метко:
сердце пробито. Наверно, ему – кранты.
Боже, продай хоть одну таблетку
от пустоты.

Трииск

Д. Л.

Это метаморфозы.
Тактический преферанс.
Полдень теряет шанс.
Вечер кроет последнюю карту – козырь.
Всё, что осталось единственно-ценное:
карандаш,
жалкий обрывок бумаги в клетку и доза
барбитурата, отложенная на раз.
Следом за паранойей солнце уходит в соль
Тихого океана и больше живьём не жарит,
не истязает бродячих, костлявых псов.
Скалы приобретают оттенок карри.
Страшно охота увидеть Анхель с твоих картин,
наш апельсиновый сад
и тебя – живого. Здесь персональный ад
каждого – город пустых витрин.

Ангел мой каждый вечер мертвецки пьян.
Курит одну за другой поодаль и сквернословит.
Тянет пустой стакан.
Требует плоти господней и крови
его Христа,
под нос бессвязно бормочет:
«...отче наш... ныне и присно...»,
не выпуская молитвенного креста,
истово
гладит, целует сухую почву,
так и не давшую ни сентимо, ни мёда, ни молока.
Это империя золота и песка.
Каждого третьего рвёт амальгамой и пылью.
Ангел о камни сбивает крылья
(сломаны, как их теперь не клей).
А это значит, мой вылет
к тебе отменяется.
Завтра – сезон дождей.

Больничное

Здесь только и остаётся читать Бродского,
смотреть в отбеленный потолок,
думать про плотское
и духовное,
терять душевное.
Раскачиваться, как маятник метронома,
как последний осенний листок
на ветке тополя или клёна.
Рисовать на потном стекле
своих странных
почти наскальных
чудовищ.
Ещё не homo, уже не овощ.

* * *

Чуткие руки хирурга
похожи на руки Бога. Отче мой, ты ли?
Кажется, это в твоём стиле –
пальцами демиурга
чинить несцепляемое,
ремонт не подлежащее.
Рассматривать пристально и придирчиво
нечто навзничь лежащее,
голое,
между двумя мирами
быть за кормчего и возникшего.
Лепить голема.

* * *

Ночь начинается с анальгина и димедрола.
С онемения кончиков пальцев. Со скола
фаянсовой раковины, сломанного смесителя.
С навязчивой мысли, что ни спасения, ни Спасителя
здесь и не было никогда.
Где планов
на будущее навалом,
а под кроватью – тапочки, пыль и судно.
Где вода
из ржавого крана
срывается каплями интервалом
с точностью до секунды.

Допустим, что

...кнопка обратного времени существует:
пульт воскрешения мёртвых, возврат утрат.
Фельдшеры больше диагноз не говорят,
предпочитают лечение на живую,
тут и делов-то: часы отмотать назад.
Пульт, укрощающий время, доступен многим.
Каждое утро в любом уголке Земли
дно покидают пропавшие корабли.
Так у русалки рыбак отнимает ноги,
так суицидник снимает себя с петли.

Будущим летом устроим себе привал
там, где однажды сначала случилось Слово.
Страшно охота увидеть Его живого
и расспросить, кто Его Самого создал.
Где обитает начало других начал,
и почему не спасает от ножевого
тех, кого приручал.

Русалочье

Время стирает грани передо мной.
Скоро и я стану старой, выцветшей, неживой.
Нет, в новой жизни не надо небесной манны.
Эй, Всемогущий Городовой,
легче крути колесо сансары и пой!
Сделай меня одуревшей и пьяной
от бриза; от солнца – полуслепой;
пропитанной илом
и солью морских глубин.
И если тебе по силам, мой Господин,
если такое возможно,
сделай меня одной из ундин
с фарфоровой нежной кожей,
с косами цвета льна,
словно сошедшую с полотна Лейтона Фредерика.

Риф из кораллов, красного сердолика
и янтаря – мой новый дом,
где уютно и хорошо.
Я забываю, что было до:
смог и неон городов,
бархат и шёлк
модных платьев, любимый карминовый кардиган...
Да, и шкаф платяной, скрипучий диван,
кот, потерявший нюх –
атрибутика старости, период полураспада,
время, когда Ты был глух
к мольбам моим, ярости и смирению,
моему ожиданию ада.

Я забываюсь...
Голос мой звонкий и чистый
зовёт маринистов
и рыбаков, ищущих пристань
или маяк.
Господи, сделай так, чтоб они проплыли мимо меня.
Господи, сделай так.

Аберрация

*Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко
на сосне, на помосте она считает ветер
старой рукой, считает облака со старой
присказкой: ...В целой стае три гуся...*

К. Кизи. Пролетая над гнездом кукушки

Вот твоя комната – банка для мотыльков,
где с каждым утром опять наступает вечер;
время – никчёмный доктор, и если лечит,
то в основном кнутом.

Вот твоя койка,
где надо лежать пластом,
а лучше – крестом,
чтоб видеть свои стигматы.

Ну же, побудь хоть разок солдатом,
не ощущающим ничего.

Ну же,
побудь хоть разок, как все:
мёртворождённым, тусклым и идентичным,
с голосом птичьим –
кукушкой в чужих часах.
Слушай, ну кто так рисует страх?
Страх бестелесен, и, стало быть, безъязычен;
страх безразличен,
а значит, он – пустота.

Вот твоя бухта с окнами на закат,
с небом на горизонте червонной масти.
Волны у мола свои разевают пасти,
словно хотят живьём тебя проглотить.

Море бурлит
и плюётся кроваво-красным,
будто со вспоротым брюхом кит
перебирает в агонии плавниками
(брось острый камень,
чтобы его добить).

Время когда-то приносит свои плоды,
время наклеит на раны бесцветный пластырь.
Кто-то прозревший возьмёт тебя за запястье:
«Вот твоё счастье,
поди его, разгляди...»
Он остаётся совсем один.
Ты же хохочешь, безумный и безучастный.
И прижимаешь крепко
счастье к своей груди.

#ЖИТЬ

Я у тебя на слуху, на духу, на словах, всеу и в дневниках...

А у меня – пустота. Четыре угла, два кота: пыль сметай да корми. Стрелки ползут к семи. Мой собеседник СМИ с телеэкрана вещает вот уже час, а время не лечит нас: ни меня, ни мир. Даже не обнуляет. И мне б на работе гореть, активисткой быть, звонить не только по выходным матери и сестре, а не сидеть с беспомощным и пустым, стеречь свою клеть и не говорить.

Мы разучились петь.

Мы не умели жить.

Я распадаюсь на этажи, сплетни, мятную карамель, на лето, зиму, капель с крыш, на автобусы, проходную, на одну старую и неплохую (единственную удачную) фотку, где ты стоишь и смеёшься, а я в тонких колготках в минус тридцать. И такие счастливые лица, что вспомнить и зареветь...

Время – проворный стриж.

Время нам – кнут и плеть, что заставляют стареть и тлеть, тратить и дорожить.

Что мы всё обо мне?

Лучше ты расскажи, чем дышит наш Париж.

Лето

П. П.

Пашка, ты знаешь, вчера уходило лето
и на прощанье махало тебе зонтами.
Лето простыло, ведь было легко одето:
в тонкое платье с оборками и принтами.

Мир неустойчив и шаток, но обездвижен,
что будем делать мы, если его не станет?
Лето пропало. Закрою глаза и вижу,
как оно, бедное, плачет на чемодане.

Лето исчезло. Закрою глаза и вижу:
Больше ни птиц, ни тепла, ни печёных яблок.
Может, ты знаешь, как осенью этой выжить,
Сидя под снежным и пасмурным одеялом?

Крестиком

...преодолеть гостиную в три шага,
выдохнуть отболевшее: раз... два... три...
Мне бы поэмы сейчас о тебе слагать
или вывязывать крестиком изнутри

радужных пони, свиваться в цветной клубок,
не выходить из дома, не застревать в двери.
«Девочка, я с тобой», – отвечает Бог, –
«только словами попусту не сори».

Позже – стихами – понятно и о простом,
строго: анапест, дактиль и логаяд.
Я вышиваю крестиком на пустом
очередной неформатный тотальный бред.

Выйти в прихожую, вздрогнуть, пальто надеть,
площадь шагов от стены до стены сложить...
Если ты существуешь ещё, ответь,
как без тебя мне дальше прикажешь жить?

За ним

Сколько дороге ни виться – а всё туда.
Сколько тропе ни петлять – всё равно за ним.
Я уже год не снимаю колпак шута,
года четыре с лица не смываю грим.

Здесь у меня полный зал и смертельный трюк:
только осталось сильнее натянуть канат.
Если я вдруг на манеж не сорвусь к утру,
пусть обо мне, как о выжившей, говорят.

Мне бы к нему на секунду – такая блажь!
Мне до его переулка подать рукой.
Вот его шторы глядят на второй этаж,
ветви каштана скрывают его балкон.

Вот на окне зацветёт по весне герань,
лампа моргнёт жёлтым глазом в который раз.
Я у подъезда до вечера, словно пьянь,
буду греть руки артерией теплотрасс..

...Сердце дрожит и колотится на износ,
кнопка звонка под ладонью моей гудит.
– Слышишь, ответь мне всего на один вопрос:
как тебе, ангел, живётся в его груди?

Сентябрьское

Ветер срывает зонты с пожелтевших улиц,
Дождь размывает мосты и калечит крыши.
Осень твой профиль не старит и не сутулит,
Разве что делает голос грубей и тише.

Осень, рождая хандру, поднимает ворот.
Снова пытаюсь забыть города и лица.
Знаешь, тебе исполняется только сорок
В день, когда мне перевалит уже за тридцать.

Осень, как правило, входит в твой дом без стука,
значит, бесстыже тебя у меня ворует.
Я же гриппую и прячу в перчатки руки.
И не ревную.

* * *

В день, когда жизнь оставит,
Выключит в доме свет,
В день, когда Пётр и Павел
Белый вручат билет,

Встретишь в киоске Бога
И на последний пенс
Купишь ещё немного
Времени на развес.

Самолётик

В дни неудач я почувствую: сдали нервы,
Горе стоглазое топчется у ворот.
Вырву тетрадный листок и сложу свой первый
Храбрый, бумажный и крошечный самолёт.

Мой самолёт без штурвала и без пилота,
В клеточку крылья, в буквах – фюзеляж.
Он не похож на меня, он готов к полёту
Выше домов, на небесный седьмой этаж.

Я говорю: «Ничего у тебя не выйдет».
Я говорю: «Разобьёшься сейчас, дурак!»
Но самолёт совершает победный вылет
В мой неуёмный неуязвимый страх.



Говорят, макрокосмос взрывается от комет,
Непогасшими звёздами плавит земную ось.
Рассмеюсь, оснований для паники вовсе нет,
Ни одно предсказанье оракулов не сбылось.

В крайнем случае, можно комету поймать за хвост,
Растопить ею печь и, откинувшись на диван,
В телескоп любоваться полётом белёсых звёзд
Из созвездия Псов в Атлантический океан.

Говорят, мы рискуем пропасть навсегда во льдах,
Мы рискуем сгореть от десятка кипящих солнц.
Ну а я говорю, это полная ерунда,
Никому не понятный, нелепый и вздорный сон!

В крайнем случае, можно построить свой чум в снегах
И сплести из тропической вишни себе гамак...

Мне зачем-то твердят, что нет счастья в твоих руках,
Говорят, без тебя можно жить.
Подскажи мне, как?

Прометей

Приходят дни, когда нам – не до нас,
и даже пыль не увлажняет глаз,
спокойный сон идёт к другой кровати,
на нашей – о здоровье помолясь.
С Эдема сам Всевышний, матерясь,
спускается в космическом халате.

Нам видится за каждым горем Бог,
и детство убегает наутёк,
мелькая загорелыми ступнями.
А горе поджигает фитилёк,
и почва разрывается над нами,
и небо ускользает из-под ног.

Мы северный народ, мы Прометей,
не выключаем газовых печей
и заедаем сухарями водку,
но только не становится теплей,
и мы напоминаем циркачей,
зубами отбивающих чечётку.

Мы «в домике». Но слышит Бог, смеясь,
когда мы отлучаемся на час,
тарашимся бессонными глазами
на снег, на свет, как будто в первый раз.
Не понимая, что случилось с нами.
Не понимая, что сломалось в нас.

Содержание

М. Халилов. В поисках реперной точки	4
Bez спичек	9
Время мыть камни	11
Магдалине	12
Лики	13
Провинциальное	14
Вавилон	15
Багдад	16
Надя	17
Реквием по мечтам	19
«Господи, что за жизнь?..»	20
Урожай (поэма)	21
Пролог	21
Эпилог	25
То, что в шёпote за стеной	29
Новолуние	31
Егорьев день	32
Одиссей – Пенелопе	33
Под развесистым каштаном	34
В парке	35
Под Рождество	36
Спортивная, 8	37
Ворон	38
Морок	39
Змеелов	40
Башмак	41
Горе	42
Литературный Герой	43
Двое	44
Тени	45
Зимнее	46
Волшебные часы	47

Бабочка	48
Сорок лун	49
Кукловод	50
«Я прошу тебя мне преподать...»	51
Лилит – Адаму	52
Яна	53
Верочка	54
«Имя ей – Женщина...»	55

Аберрация:#ЖИТЬ	57
Февральское	59
Буквица	60
Апельсины	61
Про слонов	63
Прятки	64
«Помнишь скрип шаткой стремянки...»	65
Без-сонное	66
«Стать истуканом...»	67
Мантра	68
Утренние очевидные вещи	69
Купидоновое	70
Прииск	71
Больничное	72
«Чуткие руки хирурга...»	72
«Ночь начинается...»	73
Допустим, что	74
Русалочье	75
Аберрация	76
#жить	78
Лето	79
Крестиком	80
За ним	81
Сентябрьское	82
«В день, когда жизнь оставит...»	83
Самолётик	84
«Говорят, макрокосмос взрывается...»	85
Прометей	86

Юлия Зайцева

То, что в шёпоте за спиной

Сборник стихотворений

Верстка – издательское бюро «Филигрань».

Подписано в печать 12.12.2017. Формат 60х90 1/16.
Усл. печ. л. 5,4. Заказ № 17230. Тираж 400 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Филигрань»
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91
pechataet.ru

